

Глава VIII. Искатели приключений. (1922-1923)

*Я среди женщин тебя не первую...
Немало вас,
Но с такой вот, как ты, со стервою
Лишь в первый раз.*

1. Берлинские скандалы влюблённых

В тот же день после утомительного долгого полета Айседора и Есенин поездом добрались из Кенигсберга в Берлин. Одиннадцатого мая они приехали прямо с аэродрома в самый фешенебельный отель «Адлон», где Дункан сняла две большие комнаты. Айседора только что заложила свой дом в окрестностях Лондона и вела переговоры о продаже дома в Париже. Там они отпраздновали: она — свое возвращение, а он — свое вступление в цивилизованную жизнь с ее роскошью, элегантностью и дорогостоящим комфортом. Корреспонденты различных американских и английских газет толпились в отеле, чтобы взять интервью у четы молодоженов, и вскоре воздух в «свадебном номере» был вконец отравлен чадом от постоянных вспышек магниевых ламп.

На вилле неподалеку от города жил Максим Горький. На следующий день после приезда, Есенин выступил в берлинском "Доме искусств" на литературном вечере. Вечер уже заканчивался. Алексей Толстой дочитывал свои воспоминания о Гумилеве... Все ожидали чего-то особенного. И вдруг аплодисменты...Сергей вошел в зал своей легкой, уверенной походкой. Демонстративно обнял Кусикова, помогавшего в организации вечера. В сторону отошли Эренбург и другие выступавшие. Засияли лица издателей. В зале начался шум. Вслед за Есениным, улыбаясь, вошла Айседора Дункан. "Волоокая, спокойная, - отмечает берлинская газета "Накануне", - такая чужая здесь—в этих клубах эмигрантского дыма".

Запросили сыграть "Интернационал". Публика заволновалась, послышались свистки, замелькали раздраженные лица. Тогда Есенин вскочил на стул и, всунув два пальца в рот, заглушил их своим свистом. И когда стало тише, крикнул в зал, что мы

скандалисты сильнее их и им нас не перескандальить. Наконец зал успокоился и Есенин начал читать свои стихи – на исконную русскую тему — о скитальческой озорной душе. От стихотворения к стихотворению Сергей захватывал публику эмоциональностью и проникновенной лирикой своих стихотворений. Это была победа, и после первого выступления Есенин начал посещать редакции газет, договаривался с эмигрантскими издательствами... Гржебину он отдал материалы на первый том своего "Собрания стихов и поэм". С издательством Благова Есенин заключил договор на сборник "Стихи скандалиста". Подписал с берлинским издательством "Россия" контракт на издание своих книг: "Ржаные кони", "Голубень".

В первые же дни своего пребывания в Берлине Сергей вырядился в синий костюм и белые парусиновые туфли, считая, что в них он очень наряден. Затем, милый "хулиган", пользуясь Айседорой как источником удовлетворения своих прихотей, заказал у портных массу модной одежды, к которой питал необыкновенную страсть. Когда Айседора обнаружила, что Сергей заказал больше вещей, чем человек способен сносить за всю жизнь, она трогательно сказала: «Он ведь такой ребенок, и у него никогда ничего в жизни не было, так что я не могла ругать его за это». Сергею нравились блага цивилизации: он требовал, чтобы ему каждый день мыли голову, чтобы у него была отдельная ванна, много одеколона, пудры, духов.

Вызывающая всеобщий интерес эта удивительная пара иногда прогуливалась по улицам Берлина. На Есенине был смокинг с хризантемой в петлице и цилиндр. Безупречные по отдельности, все эти вещи выглядели на Сергее по словам Крандиевской-Толстой, "по-маскарадному". А "большая и великолепная Айседора Дункан, с театральным гримом на лице, шла рядом, волоча по асфальту парчовый подо"... Люди шарахались в сторону". 17 мая чета Есениных пришла в гости к Толстым, был приглашен и Максим Горький, пожелавший увидеть молодого поэта. Айседора пришла в своих многочисленных шарфах пепельных тонов, с красным куском шифона, перекинутым через плечо, как знамя. Рядом с парой Есениных-Дункан пришел Кусиков со своей вечной гитарой, на которой он довольно примитивно бренчал.

Посаженные рядом, Есенин и Горький никак не налаживали общий разговор. Есенин робел, как мальчик, Горький присматривался к нему. Толстой подливал водку в стакан Айседоры, которая опьянев начала громко шуметь:

- За русски революсс!

- Я будет тансоват seulement (только) для русски революсс!

Позже Горький вспоминал об этом вечере, с глубинной пронизательностью отметив психологическую напряженность Сергея и пьяную тяжесть влюбленной Айседоры. "От кудрявого, игрушечного мальчика, – писал великий писатель, – остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспokoйный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то, вдруг, неуверенно. смущенно и недоверчиво. *Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям...* Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит — что именно забыто им..."

Хорошо покушав и выпив водки, Айседора стала танцевать. Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая к груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.

"Эта знаменитая женщина, – отмечал Горький, – прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно." Да нет, ошибался Алексей Максимович! Нужна была Есенину Дункан. Может и резко, но верно подметил постоянное стремление к славе своего друга завистливый красавец Мариенгоф.

"Есенин пленился не Айседорой Дункан, – злословил Анатолий, – а ее мировой славой. Он и женился на ее славе, а не на ней..."

Ему было лестно... слышать за своей спиной многоголосый шепот, в котором сплетались их имена: «Дункан — Есенин... Есенин - Дункан».

Сергей любил Айседору, не мог не любить в силу своего невроза. Но и ненавидел, особенно когда напивался. Разговаривал Есенин с Айседорой жестами, толчками колен и локтей. Как-то она плясала, а он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Потом утомленная Дункан припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил ей руку на плечо, но резко отвернулся. Тогда, видимо, и родились в его голове строки, отражающие его настоящие переживания, истинные чувства его "нежного Я".

Сыпь, гармоника. Скука... Скука...

Гармонист пальцы льет волной.

Пей со мною, паршивая сука,

Пей со мной.

Излюбили тебя, измызгали -

Невтерпеж.

Что ж ты смотришь так синими брызгами?

Иль в морду хошь?

.....

Я среди женщин тебя не первую...

Немало вас,

Но с такой вот, как ты, со стервою

Лишь в первый раз.

А когда Есенин стал читать стихи, то Горький отметил его "хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза — все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час".

После вечера все решили поехать в Луна-парк, где Есенин как мальчишка, посмеиваясь, бегал от одного аттракциона к другому. Затем неожиданно спросил у Горького:

— Вы думаете, мои стихи — нужны? И вообще искусство, то есть поэзия — нужна?

Снова в Сергее поднимается неосознанная волна удивления. Он хотел, чтобы его стихи слушали по всему миру с таким же интересом и упоением, как и России. Но что можно ожидать от берлинских мещан, веселящихся и отдыхающих. Горький верно отметил про себя, что Луна-парк забавно живет и без Шиллера.

"Вечеру этому не суждено было закончиться благополучно, — отмечала Крандиевская-Толстая. — Одушевление за нашим столиком падало, ресторан пустел. Айседора царственно скучала. Есенин был пьян, невесело, по-русски пьян, философствуя и скандаля. Что-то его задело и растеребило во встрече с Горьким...."

Я чувствовала за его хулиганским наскоком что-то привычно наигранное, за чем пряталась не то разобиженность, не то отчаянье. Было жаль его и хотелось скорей

кончить этот не к добру затянувшийся вечер".

Первые два месяца Есенин и Айседора жили в Берлине и путешествовали по Германии в пятиместном «бьюике». Айседору сопровождала новая секретарша Лола Кинел, а за Есениным увязался Сандро Кусиков. Автомобиль был единственным способом передвижения, который признавала Дункан. "Отношение Дункан ко всему русскому, – отмечала Крандиевская-Толстая, – было подозрительно восторженным. Порой казалось: пресыщенная, утомленная славой женщина не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь Есенина, как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном пиру?"

Ей было лет сорок пять. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства".

Сексуальные отношения Есенина и Айседоры по-прежнему противоречивы и строятся на ее потребности угождать и умиротворять своему "ангелу". Подсознательно ей нравится такое поведение, так как оно доставляет ей наибольшее удовлетворение. В Сергее, наоборот, проявляется постоянно желание унижить ее гордость. Айседора была самой настоящей мазохисткой. С разнузданным вожделием она истощает себя, принимать униженные позы, подвергаться избиению, щипкам, оскорблениям. И иногда это единственные условия, при которых она может достичь полного удовлетворения. Крандиевская-Толстая вспоминает, что когда после вечера она поехали в машине, Айседора, ребячась, и протягивая губы для поцелуя, лепетала на смеси французского и ломанного русского:

— Mais dis-moi souka, dis-moi ster-g-rwa...(Скажи мне сука, скажи мне стерва)

— Любит, чтобы ругал ее по-русски, — не то объяснял, не то оправдывался Есенин,— нравится ей. И когда бью — нравится. Чудачка!

Карен Хорни объясняет подобное мазохистское поведение следующим образом: "Такие откровенные выражения страсти унижать себя являются доказательством огромной мощи, которую может принимать такое влечение. Оно может также проявляться в воображении — часто связанном с мастурбацией — унижающих сексуальных оргий, публичного обнажения, изнасилования, связывания, избиения. Наконец, это влечение может быть выражено в сновидениях о том, как она, нищая, лежит в сточной канаве, и как партнер поднимает ее, относится к ней как к проститутке, как она пресмыкается у его ног".

Влечение к самоунижению у Дункан проявлялось замаскировано, не так

отчетливо, хотя окружающие видели ее рвение – или, скорее, назойливость — в обелении Сергея и принятии на себя вины за его дурное поведение. Айседора не осознает этого, потому что в ее представлениях такое подчинение воспринимается как смирение, или любовь. Желание раболепствовать — за исключением сексуальных отношений — спрятано в подсознании, оно не осознается мазохисткой. Вот почему Дункан не замечает оскорбительного поведения Сергея, хотя оно вопиюще, и очевидно другим. Иногда, даже осознавая пренебрежение и грубость Сергея, она не переживает его поведение эмоционально и не обращает на него внимания. И Ирма Дункан, и Мэри Дести убеждали ее бросить Есенина, указывали Айседоре на все оскорбительность поведения последнего. Но все было бесполезно.

В один из дней Есенин встретился с представителями литературной эмиграции и пригласил их на вечеринку в отель "Адлон". Пришли Николай Оцуп, Георгий Иванов, Ирина Одоевцева и прочие. Они входят через прихожую в нарядную гостиную с большим роялем в углу. Сергей по-барски бросает прямо на ковер свой модный пальмерстон и садится в ее кресло, далеко протянув перед собой ноги в модных плоских ботинках «шимми». Айседора как служанка, с полуулыбкой, поднимает его шляпу и пальто. Есенин даже не знакомит своих гостей с Дункан, но это ее не удивляет.

Одоевцева вспоминает, как Айседора села рядом с ней на диван, и завела чисто женский и очень интимный разговор.

"— Как хорошо, что с вами можно говорить по-английски. Ведь друзья Есенина ни слова, кроме как на своем языке, не знают. Это страшно тяжело. И надоело. Ах, до чего надоело? Он самовлюбленный эгоист, ревнивый, злой. Никогда не выходите замуж за поэта,— неожиданно советует она мне. Я смеюсь: — Я уже жена поэта. Она неодобрительно качает головой:

— Пожалее, и как еще, об этом. Вот увидите. *Поэты отвратительные мужья и плохие любовники.* Уж поверьте мне. Хуже даже, чем актеры, профессора, цирковые борцы и спортсмены. Недурны — военные и нотариусы. Но лучше всех — коммивояжеры. Вот это действительно любовники.— И она начинает восхвалять качества и достоинства коммивояжеров.— А поэты,— продолжает она,— о них и говорить не стоит — хлам! Одни словесные достижения. И большинство из них к тому же пьяницы, а алкоголь, как известно, враг любовных утех".

В этих словах – вся сексуальная неудовлетворенность Айседоры. Сергей видимо

не балует свою подругу, и она ищет удовлетворения в подчинении его воле, в его ругани, скандалах, побоях. Есенин наливается шампанским, затем подыгрывая себе на гармонике, залихватски и ритмично поет частушки. Ему бурно хлопают:

— Еще, Сережа, еще. Жарь! Жарь!

"Весело? – задает себе вопрос Одоевцева. – Нет, здесь совсем не весело. Не только не весело, но как-то удивительно неуютно. И хотя в комнате тепло, кажется, что из завешанных розовыми бархатными шторами окон тянет сквозняком и сыростью. Что-то неблагополучное в воздухе, и даже хрустальная люстра светится как-то истерически ярко среди дыма от папирос.

Есенин здесь совсем другой, чем там, в ресторане, в такси. В нем какое-то озорство и удаль, похожие на хулиганство. Ничего не осталось от его райской нежности и наивной доверчивости...Есенин подходит к дивану, неуверенно ставя ноги. Его васильковые глаза неестественно блестят, точно стеклянные. Он тяжело садится рядом с Айседорой.

— Ну что, как у вас тут? Вздоры да уморы — бабьи разговоры? — насмешливо спрашивает он меня.— Жалуетса на меня? А вы уши развесили? Так! Так! А лучше бы она сплясала. Любопытно, занятно она пляшет. Спляши, Айседора! — обращается он уже не ко мне, а к ней.

— Спляши, слышь!

— Он резким движением сдергивает с ее плеч длинный шарф и протягивает его ей.

— Ну, allez! go on! Валяй!

Она, вся по-птичьи вострепнувшись, растерянно смотрит на него.

— Пляши! — Уже не просит, а приказывает он.— Айда! Живо! Allez! — и он начинает наяривать на гармонике.

Она встает. Неужели она будет танцевать перед этой полупьяной кувырк-коллегией? И разве она может танцевать под эти ухарские, кабацкие раскаты?

Она прислушивается к ним, будто соображая что-то, потом, кивнув Есенину, выходит на середину комнаты какой-то развязной походкой.

Нет, это уже не статуя. Она преобразилась. Теперь она похожа на одну из тех уличных женщин, что «любовь продают за деньги». Она медленно движется по кругу, перебирая бедрами, подбоченясь левой рукой, а в правой держа свой длинный шарф, ритмически вздрагивающий под музыку, будто и он участвует в ее танце.

В каждом ее движении и в ней самой какая-то тяжелая, чувственная, вульгарная грация, какая-то бьющая через край, неудержимо влекущая к себе пьянящая женственность.

Темп все ускоряется. Шарф извивается и колыхается. И вот я вижу — да, ясно вижу, как он оживает, как шарф оживает и постепенно превращается в апаша. И вот она уже танцует не с шарфом, а с апашем.

Апаш, как и полагается, сильный, ловкий, грубый хулиган, хозяин и господин этой уличной женщины. Он, а не она, ведет этот кабацкий, акробатический танец, властно, с грубой животной требовательной страстью подчиняя ее себе, то сгибает ее до земли, то грубо прижимает к груди, и она всецело покоряется ему. Он ее господин, она его раба. Они кружатся все быстрее и быстрее...

Но вот его движения становятся менее грубыми. Он уже не сгибает ее до земли и как будто начинает терять власть над ней. Он уже не тот, что в начале танца.

Теперь уже не он, а она ведет танец, все более и более подчиняя его себе, заставляя его следовать за ней. Выпрямившись, она кружит его, ослабевшего и покорного, так, как она хочет. И вдруг резким и властным движением бросает апаша, сразу превратившегося снова в шарф, на пол и топчет его ногами.

Музыка сразу обрывается. И вот женщина стоит, вся вытянувшись и высоко подняв голову, застыв в торжествующей победоносной позе...

Есенин смотрит на нее. По его искажившемуся лицу пробегает судорога. — Стерва! Это она меня!.. — Громко отчеканивает он. Он подходит к столу, уставленному стаканами и никелированными ведрами с шампанским. Трясущейся рукой наливает себе шампанское, глотает его залпом и вдруг с перекосившимся, восторженно-яростным лицом бросает со всего размаха стакан о стену.

Звон разбитого стекла. Айседора по-детски хлопает в ладоши и смеется:

— It's for good luck!

Есенин вторит ей лающим смехом:

— Правильно! В рот тебе гудлака с горохом! Что же вы, черти, не пьете, не поете: многая лета многолетней Айседоре, тудыть ее в качель! Пляшите, пейте, пойте, черти! — кричит он хрипло и надрывно, наполняя стаканы. — И чтобы дым коромыслом, чтобы все ходуном ходило! Смотрите у меня!"

Однако мазохистская склонность Айседоры не мешала ей ревновать Сергея и устраивать театральные скандалы. Однажды ночью к Толстым ворвался Кусиков,

попросил взаймы сто марок и сообщил, что Есенин сбежал от Айседоры, и спрятался в каком-то пансиончике. Но Айседора села в машину и объехала за три дня все пансионы Берлина. "На четвертую ночь она ворвалась, – пишет Крандиевская-Толстая, – как амазонка, с хлыстом в руке в тихий семейный пансион на Уландштрассе. Все спали. Только Есенин в пижаме, сидя за бутылкой пива в столовой, играл с Кусиковым в шашки. Вокруг них в темноте буфетов на кронштейнах, убранных кружевами, мирно сияли кофейники и сервизы, громоздились хрустали, вазочки и пивные кружки. Висели деревянные утки вниз головами. Солидно тикали часы. Тишина и уют вместе с ароматом сигар и кофе, обволакивали это буржуазное немецкое гнездо, как надежная дымовая завеса, от бурь и непогод за окном. Но буря ворвалась и сюда в образе Айседоры. Увидев ее, Есенин молча попятился и скрылся в темном коридоре. Кусиков побежал будить хозяйку, а в столовой начался погром.

Айседора носилась по комнатам в красном хитоне, как демон разрушения. Распахнув буфет, она вывалила на пол все, что было в нем. От ударов ее хлыста летели вазочки с кронштейнов, рушились полки с сервизами. Сорвались деревянные утки со стены, закачались, зазвенели хрустали на люстре. Айседора бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. Тогда, перешагнув через груды черепков и осколков, она прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина.

— *Quittez ce bordel immédiatement,*— сказала она ему спокойно по-французски,—*et suivez-moi.*(Покиньте немедленно этот бордель... и следуйте за мной).

Есенин надел цилиндр, накинул пальто поверх пижамы и, молча, пошел за ней. Кусиков остался в залог и для подписания пансионного счета.

Этот счет, присланный через два дня в отель Айседоре, был страшен. Было много шума и разговоров. Расплатясь, Айседора погрузила свое трудное хозяйство на два многосильных «мерседеса» и отбыла в Париж, через Кельн и Страсбург, чтобы в пути познакомить поэта с готикой знаменитых соборов".

Есенин отправился в путешествие, под надзором ревнивой Дункан.

2. "Наша жизнь – простыня да кровать"

Переезжая из города в город, он начал от скуки и от трезвости писать письма своим друзьям. Из Висбадена 21 июня он пишет Илье Шнейдеру:

"Милый Илья Ильич! Привет Вам и целование. Простите, что так долго не писал

Вам, берлинская атмосфера меня издергала вконец. Сейчас от расшатанности нервов еле волочу ногу. Лечусь в Висбадене. Пить перестал и начинаю работать.

Если бы Изадора не была сумасбродной и дала мне возможность где-нибудь присесть, я очень много бы заработал и денег. Пока получил только сто тысяч с лишним марок, между тем в перспективе около 400. У Изадоры дела ужасны. В Берлине адвокат дом ее продал и заплатил ей всего 90 тысяч марок. Такая же история может получиться и в Париже. Имущество ее: библиотека и мебель расхищены, на деньги в банке наложен арест...Она же как ни в чем не бывало скачет на автомобиле, то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар. Я следую с молчаливой покорностью, потому что при каждом моем несогласии — истерика".

Айседора не могла жить без своего любимого "Серьожки" и в сексуальных отношениях находила смысл своей личной жизни. Ее новая секретарша Лола Кинел, нанятая в Висбадене, вспоминает, что однажды Айседора протянула руки, указывая на постель, и громко воскликнула по-русски: «Вот Бог!»

Видимо Есенин вспомнил эти слова Айседоры, когда писал свою "Москву кабацкую".

Так чего ж мне ее ревновать.

Так чего ж мне болеть такому.

Наша жизнь – простыня да кровать.

Наша жизнь – поцелуй да в омут.

Очень трудно на основе воспоминаний составить верное представление об истинных взаимоотношениях Айседоры и Есенина. Описания мемуаристов подчас грешат противоречивостью и субъективностью. Когда об этой невротической паре пишут друзья Есенина, или люди хорошо к нему относящиеся, то они в сочувственном тоне отмечают и его болезненный вид, и его пьянство, скандалы, напудренное лицо и тусклые глаза. А когда они рассказывают о крашенных волосах Айседоры, поплывшей краске на ее лице, смазанной губной помаде, ее полноте и возрасте, ее пьянстве, то это говорится с сарказмом или отвращением. Друзья же Айседоры или ее поклонники, наоборот, замечают ее полноту или любовь к выпивке с пониманием, они ищут причины, объясняющие это, и говорят, что ее искусство делает незаметными и ее немолодой вид, и ее небрежный грим. В то же время они упрекают Есенина за пьянство,

неверность и жестокость. Однако Дункан и Есенин были одинаковы. Оба супруга были капризны, деспотичны и вызывающе вели себя без всяких видимых причин.



Айседора Дункан и Сергей Есенин.
Берлин. 1922 год.

Но оба они любили друг друга – Айседора по-женски, страстно, находя удовольствие в сексуальном и психологическом мазохизме. Нежный, мягкий, с растерзанной душой, Сергей был как капризный ребенок, возбуждая в памяти Айседоры трагическую гибель детей. Есенин для Дункан – это как бы

повзрослевший Патрик. «У него был мягкий голос и мечтательный взгляд, – писала Лола Кинел о Есенине, – и, видимо, поэтому

окружающие считали, что у него душа ребенка, таинственно мудрого и в то же время удивительно нежного». Именно эту шизоидную, ранимую, поэтическую душу, обуреваемую сильнейшим психологическим конфликтом, и защищала Айседора, хотя Есенин всегда пытался спрятать ее за другим обликом, предназначенным для окружающих.

А Есенин любил Айседору, потому что ожидал от близости с ней выхода к мировой славе. Эта талантливая, но богемная женщина была крайне необходима ему для удовлетворения его тщеславия и обеспечения новых лавров и новых побед. Поэтому трагичность и кратковременность их связи понял с самого начала Франс Элленс, бельгийский поэт-переводчик есенинских произведений: "У нее не было никаких иллюзий, она знала, что время тревожного счастья будет недолгим, что ей предстоит пережить драматические потрясения, что рано или поздно маленький дикарь, которого она хотела воспитать, снова станет самим собой и сбросит с себя, быть может, жестоко и грубо тот род любовной опеки, которой ей так хотелось его окружить. Айседора страстно любила юношу-поэта, и я понял, что эта любовь с самого начала была отчаянием".

Как-то Сергей попросил Лолу Кинел перевести свои стихи на английский язык. Кинел немного испугалась. Будучи образованной девушкой, она прекрасно понимала, что поэзия Есенина необыкновенно лирична и ее музыка заключена в звучании русских

слов, в русской фонетике, поэтому она никогда не зазвучит на другом языке. Сергей настаивал, поэтому Лола Кинел начала постепенно переводить его стихотворения, прочитывая их Айседоре и даже советуясь с ней. На вопрос Лолы – почему он так хочет, чтобы его стихи были переведены на английский, Есенин с какой-то затаенной страстью ответил:

– Неужели вы не понимаете, сколько миллионов узнают обо мне, если мои стихи появятся на английском? Сколько человек прочитали меня на русском? Двадцать миллионов, ну тридцать максимум... Все наши крестьяне неграмотны. А на английском?

"Он широко развел руки, – пишет Кинел, – и глаза его засияли».

Ревниво относясь к славе первого поэта России, Есенин мечтал о признании его поэзии на Западе. Для этого он поехал в Берлин, для этого он согласился сопровождать Айседору в ее американское турне, и то, что на него в Европе, да и потом в Америке смотрели лишь как молодого мужа стареющей танцовщицы, постоянно злило Сергея.

– Танцовщица никогда не станет великой, потому что ее слава недолговечна. Она умирает вместе с ней, – говорил он Айседоре, стараясь позлить "старуху". – А поэты живут. Я, Есенин, оставлю после себя свои стихи. А стихи будут жить вечно. Тем более такие, как мои.

Отсутствие шумного успеха, к которому Есенин привык в России, страшно раздражало Сергея. В особенности Есенин резко отзывался о простых обывателях, с которыми он встречался в городах Германии, удивляясь, что никто не знает его как поэта. Сергей довольно зло пишет в письме к Сахарову из Дюссельдорфа:

"Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, на искусство начхать — самое высшее музык-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно. Ну и (...) я их тоже с высокой лестницы...

Здесь все выглажено, вылизано и причесано так же почти, как голова Мариенгофа. Птички какают с разрешения и сидят, где им позволено. Ну, куда же с такой непристойной поэзией? Это, знаете ли, невежливо так же, как коммунизм. Порой мне хочется послать все это (...) и наострить лыжи обратно.

Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа,

которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину. (...) Конечно, кой-где нас знают, кой-где есть стихи, переведенные мои и Толькины, но на кой (...) все это, когда их никто не читает".

Как тут не вспомнить мысли Горького о Луна-парке и Шиллере. Не к той аудитории обращался Есенин. Европейский обыватель не читал стихов, тем более не очень понятные и наполненные специфически русскими реалиями произведения Есенина и других русских поэтов. В Европе поэзия интересовала, в основном, интеллигенцию, с которой Есенин не имел никакого общения. Свою публику он, естественно, не мог найти в ресторанах, кабаре, дорогих гостиницах. Отсюда такие резкие всплески неприязни к европейскому образу жизни.

"Милый мой Толенок! – нежно обращается Есенин к своему другу Мариенгофу. – ...Милый мой, самый близкий, родной и хороший, так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая «северянщина» жизни, что просто хочется послать это все к этой матери.

Сейчас сижу в Остенде. Паршивейшее Гель-Голладское море и свиные тупые морды европейцев. От изобилия вин в сих краях я бросил пить и тяну только сельтер. Очень много думаю и не знаю, что придумать.

Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это обширнейший рынок распространения нашей поэзии, а теперь отсюда я вижу: боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны еще и быть не может.

Со стороны внешних впечатлений после нашей разрухи здесь все прибрано и выглажено под утюг... Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрее ящериц, не люди — а могильные черви, дома их гробы, а материк — склеп. Кто здесь жил, тот давно умер, и помним его только мы, ибо черви помнить не могут. Из всего, что я намерен здесь сделать, это издать переводы двух книжек по 3—2 страницы двух несчастных авторов, о которых здесь знают весьма немного и то в литературных кругах.

Издам на английском и французском".

В Берлине Есенин чувствовал себя как в своей тарелке. Здесь было много русских, которым была небезразлична его поэзия. Здесь сопровождала его слава "хулигана и скандалиста", но в остальной Европе хватало своих, доморощенных поэтов. Главная особенность есенинских невротических претензий – увековечить его иллюзии относительно себя и переложить ответственность на окружение. Раздувая свои

потребности до размеров претензий, Сергей тем самым отвергает собственные неудачи и перекладывает ответственность за себя на других людей, на обстоятельства, на судьбу. Все вокруг виноваты, что его не ценят, не понимают. И неважно, что те, кому безразлична его поэзия, читают Гете, Гейне, Рильке; все равно они мещане, они не люди, "а могильные черви".

В середине июля Дункан-Есенины переехали в Брюссель, где Айседора с колоссальным успехом танцевала три дня в «Ла Монне», бельгийском оперном театре. Критика писала, что год, проведенный в России, невероятно омолодил ее. Она похудела на 20 фунтов и выглядела на 20 лет моложе. Айседора с юмором заявляла, что это все результат недоедания в России и что люди, страдающие тучностью, должны совершить паломничество в Москву, если хотят добиться такой же грациозности. Есенин также успокоился, перестал пить, о чём сообщил в письме к Шнейдеру.

С большими трудностями Айседора столкнулась при получении виз в Англию, Францию и другие страны. Они возникли в связи с ее браком с молодым советским поэтом. Наконец, 29 июля Айседора прибыла из Брюсселя в Париж. "Она и Сергей провели два очень счастливых месяца в Париже, – пишет Мэри Дести, – совершая поездки в Италию и другие места, и все это для ознакомления Сергея с миром. Много времени и сил положила она на организацию перевода и публикацию стихов Есенина. Всюду в их честь устраивались приемы, и она была счастлива, как школьница. Сергей вел себя ангельски и интересовался только своими стихами и работой".

В Италии супруги посетили Рим, Флоренцию, Венецию. Но никакого впечатления на Есенина эти прекрасные итальянские города не произвели. Он скучает, утомленный поездками. Только одно интересует его – слава. И снова он пишет Мариенгофу, жалуясь и его молчание, и критикуя окружающую его жизнь. "Знаете ли Вы, милостивый государь, Европу? Нет! Вы не знаете Европы. Боже мой, какое впечатление, как бьется сердце... О нет. Вы не знаете Европы! Во-первых, боже мой, такая гадость, однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется".

Одно удовольствие, наконец-то изданы его стихи и стихи Мариенгофа на французском и английском языках. Но шумного успеха как не было, так и нет. Не зная европейских языков, Есенин не мог познакомиться с культурной жизнью Парижа, который был творческим центром того времени, куда приезжали поэты, художники и писатели со всего мира. В 20-годах здесь жил Хемингуэй, приезжал Скотт Фицджеральд из Америки, творили Поль Элюар и Луи Арагон. Париж потрясался

своими скандалистами. Дерзкие ватаги местных поэтов-дадаистов (как имажинисты и футуристы в России) устраивали свои шумные богемные выходки, с помощью которых они хотели разрушить догмы здания христианско-торгашеской цивилизации Запада. Они так же, как и Есенин, критиковали царство мещанства, окружающего их, так же публично читали свои произведения, шокируя обывателей необыкновенным языком и подчас непристойными образами. Вокруг себя эти молодые бунтари не желали видеть ничего или почти ничего, достойного сохранения. Здесь же, в Париже, начинали свой путь великие художники: Сальвадор Дали и Пабло Пикассо.

Есенин жил в своем собственном мире, понимая только Россию, ее людей, ее деревенские корни, выражая в своих стихах вечную раздвоенность русской души, ее беспокойность, смятение, буйство и самобичевание, бьющую через край веселость и таинственную грусть. В Европе не могли понять поэзию Есенина, потому что менталитеты европейца и исконного россиянина были исторически не похожи. Поэзия Запада была рациональна. Есенинские стихи воспринимались душой, эмоциями, подсознательными инстинктами русского человека. Это понял Франс Элленс, когда впервые услышал, как Сергей читал своего "Пугачева".

"Какой стыд для меня, – вспоминал Элленс, – когда я его услышал и увидел, как он читает! И я посмел прикоснуться к его поэзии! Есенин то неистовствовал, как буря, то шелестел, как молодая листва на заре. Это было словно раскрытие самих основ его поэтического темперамента. Никогда в жизни я не видел такой полной слиянности поэзии и ее творца". Переводы Элленса на французский язык были не так музыкальны и не так насыщены эмоциональной силой как русский оригинал. Такова судьба всей русской поэзии. Ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Блок, ни Есенин – не приобрели на Западе поэтической известности как Данте, Байрон, Верлен, Гете. Нобелевские премии Пастернака и Иосифа Бродского – это всего лишь политическая конъюнктура времен "холодной войны".

Тем временем Айседора заканчивала последние переговоры с Солом Юроком, и в октябре 1922 года на гигантском пароходе "Париж" Есенин и Дункан одни отплыли из Гавра в Нью-Йорк.

3. Америка не раскрыла свои объятия

Атлантический лайнер "Париж", как и знаменитый "Титаник", был высотой с

многоэтажный дом, команда и обслуживающий персонал насчитывают до 700—800 человек. В каждом из трех классов имелись не только ресторан, бар и кафе, плавательные бассейны и кинозалы, но и роскошные дансинги и концертные залы.

В первый день октября 1922 года, когда пароход «Париж» медленно шел по Нью-Йоркскому заливу мимо статуи Свободы, чиновник иммиграционной службы сообщил Айседоре Дункан, что ей не разрешено сойти на берег. Ни ее мужу, ни их секретарю Владимиру Ветлугину также не было разрешено ступить ногой на землю, о которой Айседора так много им рассказывала. Иммиграционный инспектор заявил, что ночь они должны провести в своей каюте, а утром проследовать на Эллис-Айленд («Остров слез») для проверки.

Стопившиеся репортеры отметили энтузиазм, с которым Айседора говорила о гениальности мужа, и то, с какой любовью они смотрели друг на друга. («Хотя Есенин и не мог говорить по-английски, он обнял свою жену и одобрительно улыбался каждому ее слову. Оба казались настолько влюбленными друг в друга, что им трудно было это скрывать») Конечно, не осталась незамеченной разница в возрасте между Айседорой и Есениным. Сергея, которому очень льстило появление в газетах длинных статей о них, неприятно поразил тот факт, что в прессе он упоминался лишь как муж Айседоры Дункан, и это еще более усилило его неприятное впечатление об Америке, возникшее после случая в порту. Американские журналисты остались верны себе: они наперебой задавали Дункан нелепые вопросы об ее танцах, о Москве, о Есенине, о визах, об отношении к американцам, и даже — «как она выглядит, когда танцует, высказывали предположение, что Дункан и Есенин приехали в Америку, как большевистские пропагандисты. Также видимо, думали и в Вашингтоне.

Наутро 2 октября задержанные пассажиры «Парижа» в сопровождении двух гвардейцев были приведены в таможенный офис. Там весь их багаж был открыт и подвергнут тщательной проверке; каждая статья была просмотрена, вся одежда вывернута наизнанку и все карманы обшарены; даже белье не избежало ощупывания и перетряхивания. Все рукописи были просмотрены через микроскоп; все печатные материалы на русском языке, в основном книги стихов и произведений русской классики, были конфискованы, а затем их отвезли на Эллис-Айленд для осмотра. Есенину задавали множество вопросов, и верите ли Вы в бога? и какую признаете власть?". Затем заставили принести клятву: «Именем господина нашего Иисуса Христа обещаюсь говорить чистую правду и не делать никому зла. Обещаюсь ни в каких

политических делах не принимать участия».

На выходе Есенина и Айседору встретила шумная, заинтересованная газетами толпа. Когда они сели в автомобиль, Сергей сказал журналистам на искажённом английском:

– «Mi laik Amerika...»

Друзья Айседоры устроили дружескую встречу и банкет в отеле "Уолдорф-Астория", где они поселились. Дункан ни о чем не могла говорить, кроме как о коммунистической России, и к моменту ее первого выступления о ней уже столько наговорили, что у Сола Юрока тряслись поджилки при мысли, какая публика соберется на ее концерты. Боялся он зря. Ее три выступления в Нью-Йорке прошли с колоссальным успехом. Билеты были проданы заранее, а люди требовали еще. В субботу, 7 октября, Айседора Дункан дала свой первый из намеченных четырех вечер танца в Нью-Йорке перед переполненным и воодушевленным залом. Трехтысячная ревушая толпа поклонников переполнила Карнеги-холл своими приветствиями и аплодисментами; снаружи стояли сотни других, ожидающих в напрасной надежде достать хотя бы стоячее место.

В программе были ее обычные вещи Чайковского, Шестая (Патетическая) симфония и «Славянский марш». Если верить газетной заметке Есенин вышел в высоких сапогах и русской рубашке, а шея его была обмотана длинным шарфом. Айседора представляла Сергея как "второго Пушкина". Бедный Есенин. Он снова, как и в 1914 году начал исполнять роль "пряничного мужичка", чтобы получить известность и одобрение зрителей. Может быть, Есенину повезет, и стихотворный сборник его будет издан. Публичный успех – это гарантия известности и славы. Но вряд ли роль "мужа своей жены" была по душе Есенину.

Популярность Айседоры была огромной, успехи великолепными, а она вся кипела огромной любовью к России. Куда бы она ни пошла, вокруг нее тут же собирались толпы репортеров, и она говорила им одно и то же: «Коммунизм — единственное будущее всего мира!» А Есенин, взбудораженный большой дозой шампанского, собирал большую группу вокруг себя и раздражался огненными речами о своей родине. Через несколько дней, одиннадцатого, Айседора вновь дала сольный концерт в зале, столь же переполненном и восторженном, как и в первый раз.

Из Нью-Йорка Айседора и Есенин уехали в Филадельфию, но успешно начавшееся турне приостановилось: мэр Индианополиса испугался «большевистских

речей» Айседоры и запретил ей въезд в город. Супруги равнодушно выслушали эту «сенсационную» новость. Айседора сказала то, что хотела сказать, и это было для нее главное. Но Юрок нервничал и предупредил танцовщицу, что первый, самый незначительный инцидент приведет к отмене турне. В штате Милуоки он не допустил к ней корреспондентов и объявил, что Дункан никого не принимает, но на банкете, где чествовали ее и Есенина, она опять высказалась всласть. Затем начались выступления в Бостоне.

В симфоническом павильоне собралось 10 тысяч зрителей. Айседора вышла на сцену в блестящей кожаной куртке с белым атласным жилетом, отороченным красным кантом. Этот костюм под названием "а-ля большевик" сшил для нее парижский кутюрье Поль Пуаре. В конце выступления Дункан, увлеченная собственной речью и раздосадованная флегматичностью публики стала размахивать своим красным шелковым шарфом над головой:

— Он — красный! И я тоже! Это цвет жизни и энергии. Вы раньше всегда здесь были страстными. Не будьте же пассивными!

Престарелые леди и джентльменов поспешили к выходу, а молодые студенты из Гарварда и юноши и девушки из Бостонской школы искусства и музыки продолжали громко выражать свое одобрение. Вдобавок ко всему Есенин, открыв за сценой окно, собрал целую толпу бостонцев и с помощью какого-то добровольного переводчика рассказывал правду о жизни новой России. В зал ворвалась конная полиция. Вечер закончился огромным скандалом. Айседору и Есенина попросили немедленно покинуть Бостон, «ввиду обязанности города поддерживать основы благопристойности». Айседора, однако, оставила последнее слово за собой. Перед ее отъездом в Чикаго, она резко выступила в печати:

—Когда я танцую, моя цель — вызвать благоговение, а отнюдь не нечто вульгарное. Я не взываю низменным инстинктам самцов, как это делают ваши шеренги полуодетых герлс. По мне уж лучше танцевать совершенно обнаженной, чем расшагивать непристойно полуодетой, как это делает сегодня множество женщин на улицах Америки. Нагота — это правда, это красота, это искусство. Поэтому она никогда не может быть пошлой; она никогда не может быть аморальной."

"Ее последнее выступление в Бруклине тоже было сенсационным, — писала Мэри Дести. — Казалось, в Айседору вселился демон, и чем дольше она танцевала, тем больший экстаз ее охватывал. Она пребывала в полной власти своего искусства и не

заметила, как костюм ее постепенно сползал с плеча, — да на такие вещи она вообще мало обращала внимания. Публика была возбуждена до предела и вызывала на «бис»... как позже выяснилось, кто-то прислал ей бутылку плохого шампанского — Айседора всегда выпивала бокал шампанского в антракте и всегда требовала, чтобы дирижер и менеджер пили с ней, и все, кроме нее, сильно отравились".

Пока Айседора скандалила с соотечественниками, Есенин решил устроить свои издательские дела. В первые дни жизни в Нью-Йорке он для выпуска желаемого сборника встречается с переводчиком Абрамом Ярмолинским. "Удивил меня Есенин и своим предложением, — вспоминал Ярмолинский, — издать в Нью-Йорке сборник его стихов в моем переводе. Правда, у него не было на руках его книги, но это не помеха: он по памяти напишет выбранные им для включения в книжку стихи.

Я не принял всерьез это предложение. Но оказалось, что он действительно верил в возможность издания сборника".

Через несколько дней Ярмолинский навестил Есенина в гостинице, где Есенин передал ему рукопись своих стихотворений. Однако дальше составления рукописи Есенин не пошел. Может, понял поэт, что стихи его в Америке так же никому не нужны, как и в Европе. "Здесь имеются переводы тебя и меня в издании «Modern Russian Poetry», — пишет он в письме к Мариенгофу, — но все это убого очень. Знают больше по имени, и то не американцы, а приехавшие в Америку евреи. По-видимому, евреи самые лучшие ценители искусства, потому ведь и в России кроме еврейских девушек, никто нас не читал".

А перед отъездом в дальнейшее турне по северо-восточным штатам, Есенин встретился с Давидом Бурлюком, знаменитым футуристом, сподвижником Маяковского. Есенин устроил своих посетителей так, чтобы мы сидели все время лицом к окнам, за которыми слышался несмолкаемый гул города, а спиной к входной двери. А сам поэт устроился в кресле перед ними, чтобы не видеть площади за окнами. Их беседа стала какой-то вымученной и явно нерадостной для обоих участников. В речи стареющего футуриста появились заискивающие нотки. И сидел он очень напряженно, на самом кончике стула, постоянно предлагал поэту стать гидом по Нью-Йорку. Наконец, Есенин вскочил с места, пробежал по комнате, а затем в неожиданно категорической форме — от первоначальной вежливости не осталось и следа — объявил: «никуда он здесь не хочет идти, ничего не намерен смотреть, вообще не

интересуется в Америке решительно ничем».

Много позже, когда присутствующий при этой беседе Мендельсон прочитал "Железный Миргород", он понял, что Есенин был потрясен Америкой. "Но все же в ощущении, создавшемся у меня еще во время первой встречи с Есениным, что из этой страны он хочет бежать без оглядки, была доля правды".

Это и не удивительно. Поэт находился в чуждом ему окружении. Общаться он мог только с немногими, кто знал русский язык. А во время поездки по Америке ему почти не с кем было обменяться словом. С женой у него буквально не было общего языка. Может быть, только в Нью-Йорке Сергей чувствовал себя лучше. Тут было несколько русских друзей. Одним из них был Леонид Гребнев (псевдоним Леонида Файнберга), который одно время входил в состав группы имажинистов. В Америке он начал писать на идиш и стал видным еврейским литератором. Если принять во внимание еще и Ветлугина, то понятным становится узость того круга общения, в котором Есенин мог отвести душу. Лицо Есенина постоянно говорило о том, что на душе у него постоянно было тяжело.

Иногда оно преображалось, но это случалось так редко. Однажды Сергей читал стихи рабочим, главным образом выходцам из России, стихи о русской природе и о преобразовании России. Возможно, революционная струя в есенинской поэзии была для этой аудитории даже дороже, чем ее лирическое звучание. Понимая это, он выбирал для чтения стихи, которые позволяли слушателям лучше всего представить себе близость поэту того нового, что происходит на его родине. И тогда на лице Есенина появилось выражение счастья. Это не было простым откликом на радостный гул, которым слушатели встречали его выступление. Поэт почувствовал: собравшимся понятно и дорого то, что творится в его душе.

"Большинство американцев, – отмечал М. Мендельсон, – если они и узнали из газет о приезде русского поэта, думали о нем лишь как о муже их соотечественницы. А сколько тягостного и даже оскорбительного было для Есенина в его тщетных попытках добиться издания его стихов на английском языке, в провале надежд на то, что наконец-то он предстанет перед американцами человеком творческим, а не просто молодым спутником Айседоры Дункан, неизвестно на что расходующим свои дни". Отсюда проистекала грусть Сергея, его уныние, частое пьянство, постоянная нервозность. По свидетельству Шнейдера "он считал, что Америка не приняла и не оценила его как поэта".

Воспоминания о России, о своих друзьях, о тех, кто ценил его поэзия, пусть это были только еврейские его любовницы, не покидало Сергея за все время его утомительной поездки по Америке. Часто пишет письма он своему незабываемому Анатолию, жалуясь на свою жизнь, вспоминая о московских встречах, проявляя заботу о своей сестре и родителях.

"Милый мой Толя! Как рад я, что ты не со мной здесь в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было бы так плохо, что хоть повеситься...

Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. В чикагские «сто тысяч улиц» можно загонять только свиней. На то там, вероятно, и лучшая бойня в мире...

И правда, на кой черт людям нужна эта душа, которую у нас в России на пуды меряют.... С грустью, с испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: застегни, Есенин, свою душу, это так же неприятно, как расстегнутые брюки...

..никак не желаю говорить на этом проклятом аглицком языке. Кроме русского, никакого другого не признаю, и держу себя так, что ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учится, по-русски...

Боже мой, лучше было есть глазами дым, плакать от него, но только бы не здесь, не здесь. Все равно при этой культуре «железа и электричества» здесь у каждого полтора фунта грязи в носу.

Поклонись всем, кто был мне дорог и кто хоть немного любил меня.

Если сестре моей худо живется, то помоги как-нибудь ей".

4. Трагедия непризнания на Западе

Турне по городам Америки прекратилось, тем более, что Юрок был недоволен последними выступлениями. Сборы падали, и решено было собираться домой. Да и газеты словно взбесились: они набрасываясь и на Дункан, и на Есенина. Они приписывали Есенину дебоши, которых не было, раздували в скандал каждое резкое высказывание Есенина, его недовольство американскими нравами и чувство разочарования, какое он испытывал в этой стране. Есенин нервничал. При каждом выступлении Айседоры он казался возбужденным, не мог спокойно ни сидеть, ни стоять. С одной стороны он понимал, что находится как бы на содержании у стареющей танцовщицы, которая всеми усилиями стремится заработать деньги, которые

расходовались на дорогие гостиницы, ужины с многочисленными друзьями, шикарную одежду, выпивку. А с другой – Есенин как бы издевается над неумением Айседоры вести дела. Деньги таяли, так как расходы были велики, а Айседора никогда не умела контролировать их.

"Изадора прекраснейшая женщина, – недовольно писал Сергей Мариенгофу, – но врет не хуже Ваньки. Все ее банки и замки, о которых она пела нам в России, — вздор. Сидим без копейки, ждем, когда соберем на дорогу и обратно в Москву".

В течение всего турне Дункан сопровождали различного рода неприятности, связанные с ее революционными выступлениями, а так же пьянством и черной депрессией ее мужа. Однажды Есенин увидел свою физиономию в какой-то газете, купил целую кучу, решил послать друзьям. Но потом узнал, что подписана она была: «Сергей Есенин, русский мужик, муж знаменитой, несравненной, очаровательной танцовщицы Айседоры Дункан». От злости он эту газету на мелкие клочки изодрал и долго потом не мог успокоиться.

Вот она, ожидаемая слава, но совсем другая, подлая, низкая, обидная?

"В тот вечер, – вспоминает Сергей, – спустился я в ресторан и крепко, помнится, запил. Пью и плачу. Очень уж мне назад, домой, хочется". "Невероятно, но, несмотря на незнание английского, – пишет Мэри Дести, – у Есенина никогда не возникало проблем с тем, чтобы отыскать бутлегера, который снабдил бы его плохим виски".

Между тем и Айседора была не дура выпить. Один из биографов Айседоры вспоминает, что "после смерти детей и разрыва с Зингером она стала время от времени искать возможность забыться в выпивке... Она, безусловно, любила шампанское и при возможности пила его, особенно в последние годы, когда уже не танцевала и чувствовала себя в какой-то степени забытой. Алкоголь для нее был своего рода лекарством, приятным лекарством, и она так его и воспринимала".

Есенин все это замечал и в жалобе Айседоры Мариенгофу есть большая доля правды и собственной ее вины перед Есениным.

— О, это было такое несчастье! Вы понимаете, у нас в Америке актриса должна бывать в обществе — приемы, балы. Конечно, я приезжала с Сережей. Вокруг нас много людей, много шума. Везде разговор. Тут, там называют его имя. Говорят хорошо. В Америке нравились его волосы, его походка, его глаза. Но Сережа не понимал ни одного слова, кроме «Есенин». А ведь вы знаете, какой он мнительный. Это была настоящая трагедия! Ему всегда казалось, что над ним смеются, издеваются, что его

оскорбляют. Это при его-то гордости! При его самолюбии! Он делался злой, как демон. Его даже стали называть: Белый Демон... Банкет. Нас чествуют. Речи, звон бокалов. Сережа берет мою руку. Его пальцы, как железные клещи: «Изадора, домой!» Я никогда не противоречила. Мы немедленно уезжали. Ни с того ни с сего. А как только мы входили в свой номер — я еще в шляпе, в мантио, — он хватал меня за горло, как мавр, и начинал душить: «Правду, сука!.. Правду! Что они говорили? Что говорила обо мне твоя американская сволочь?» Я хриплю. Уже хриплю: «Хорошо говорили! Хорошо! Очень хорошо». Но он никогда не верил. Ах, это был такой ужас, такое несчастье!

Субботним вечером 13 января 1923 года и вечером в понедельник Айседора Дункан дала два последних своих представления в Нью-Йорке. Затем они стали готовиться к отъезду, но в ожидании виз им еще пришлось немного задержаться. Есенин скучал и все больше пил, спускаясь в ресторан при гостинице. Денег у Айседоры не было.

Перед отъездом Сергей получил приглашение на вечер у еврейского поэта Мани-Лейба, которого Есенин считал " весьма крупным талантом" в поэзии. Может потому, что Мани-Лейб перевел на еврейский язык много его стихов. В "Железном Миргороде" Есенин писал, что своими переводами "он ознакомил американских евреев с русской поэзией от Пушкина до наших дней". Собираясь на вечеринку к Мани-Лейбу, Есенин позвал с собой Вениамина Левина, который лишь недавно эмигрировал в Америку из Шанхая. Левин работал в левозэсерских изданиях, знал Есенина в 1918–1920 гг., а его жена дружила с Зинаидой Райх. Приехав в Соединённые Штаты в конце января, Левин скрасил Сергея ненавистное пребывание в Америке. Сергей и Левин встречались чуть ли не каждый день. Они планировали создать издательство, на которое Айседора обещала выделить им 30 тысяч долларов из 60, которые ей обещал Зингер на устройство бедствующей московской школы. Поэтому Сергей с радостью пригласил Левина составить ему компанию в гостях у Мани-Лейба.

Сравнительно небольшая квартира была до отказа набита людьми, мужчинами и женщинами разного возраста, говорившими на идиш. Все собрались поглядеть на знаменитую Айседору и ее молодого мужа. Сам Мани-Лейб, высокий, тонкий, бледный, симпатичный, и жена его, Рашель, тоже поэтесса, встретили гостей добродушно и радостно. Видно было, что все с нетерпением ждали нашего приезда. Айседора резко выделялась среди присутствующих и своим платьем и каждым поворотом своего тела,

"она была исключительно проста и элегантна", отмечает Левин. Есенин сразу почувствовал, что попал на зрелище. Собрались выходцы из России, большей частью из Литвы и Польши, поэты и рабочие, как-то связанные с литературой.

Мужчины сразу окружили Айседору. Она мило и радостно улыбалась. Сразу же пошли по рукам стаканы с дешевым вином, и потом Есенин оказался в центре внимания женщин. Послышались фразы некоторых дам:

—Старуха-то, старуха-то—ревнует!..

Скоро Есенина попросили прочесть что-нибудь. Он не заставил себя долго упрашивать и начал монолог Хлопуши из "Пугачева". Затем Мани-Лейб прочел несколько своих переводов из Есенина на идиш, а Левин – поэму Есенина "Товарищ". Потом Есенина снова просили что-нибудь прочесть из нового, еще неизвестного. И он начал трагическую сцену из "Страны негодяев" – разговор комиссара Чекистова и красноармейца Замарашкина.

Замарашкин

Слушай, Чекистов!..
С каких это пор
Ты стал иностранец!
Я знаю, что настоящий жид,
Ругаешься ты как ярославский вор,
Фамилия твоя Лейбман,
И черт с тобой, что ты жил
За границей...
Все равно в Могилеве твой дом.

Чекистов

Ха- ха!
Ты обозвал меня жидом.
Нет, Замарашкин!
Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром

Укрощать дураков и зверей.

"Вряд ли этот диалог, – вспоминает Левин, – был полностью понят всеми или даже меньшинством слушателей. Одно мне было ясно, что несколько фраз, где было "жид", вызвали неприятное раздражение". Да, и слово "жид" было воспринято многими, как оскорбление, и намек на Лейбу Троцкого, который был кумиром американских коммунистов. Именно Троцкий жил много лет в эмиграции в Америке, а после революции 1905 года жил в Веймаре, в Германии. Весной 1917 год Троцкий со своими соратниками прибыл на "пароходе революционеров" из Америки. Совсем недавно в журнале "Еврейский мир" была написана статья, превозносившая Троцкого, как одного из числа великих людей, "которыми наша раса облагодетельствовала мир".

Есенину подливали вина, и он становился все мрачнее. Видно кому-то хотелось увидеть Есенина в разгоряченном состоянии. Айседора это заметила и постаралась освободиться от рук нескольких мужчин, нахально обнимавших ее. Ревнуя, она придвинулась к Есенину и очень мило оттерла от него Рашель. А он разгорался под влиянием уже вина. Его начала возмущать и эта огромная толпа людей, глазеющих на них, и невозможность высказать все, что наболело на душе, и вольное обращение мужчин с его женой и такое же обращение женщин с ним самим, а главное — вино. Неожиданно для всех он рванул легкое платье Айседоры так, что ткань затрещала. Левин пытался остановить Сергея.

— Болван, – крикнул Есенин, – вы не знаете, кого вы защищаете! Это же блядь! Есенин продолжал ругаться, а Айседора, по словам Левина, тихая и смиренная, покорно стояла против него, успокаивая и повторяя те же слова, вряд ли понимая их смысл:

— Ну хорошо, хорошо, Серьожка! Блядь, блядь..

Айседора продолжала ласкаться к нему, а сзади снова зло говорили: "Старуха-то ревнует". Айседору оттерли от Есенина и увели в соседнюю комнату, а самого поэта стали успокаивать, сказали, что жена уехала домой. Он бросился в прихожую, шумел, кричал, сделал попытку выброситься в окно пятого этажа. Когда Есенина связали и уложили на диван, он стал кричать: "Жиды, жиды, жиды проклятые!" На замечание Мани-Лейба обозвал его "жидом" и, получив пощечину, в ответ плюнул ему в лицо. После этого все успокоились, и Есенин как ни в чем ни бывало уехал в гостиницу, а Айседора осталась у Мани-Лейба.

"Что всего ужаснее, пишет Левин, — назавтра во многих американских газетах

появились статьи с описанием скандального поведения русского поэта-большевика, "избивавшего свою жену-американку, знаменитую танцовщицу Дункан". Все было как будто правдой и в то же время неправдой. Есенин был представлен «шпионом и большевиком». Стало ясно, что в частном доме поэта Мани-Лейба на "вечеринке поэта" присутствовали представители печати — они-то и предали "гласности" всю эту пьяную историю, происшедшую в пятницу. Не будь скандала в газетах, об этом не стоило бы и вспоминать, но история эта имела свое продолжение".

Вернувшись домой и отрезвев, Есенин написал Мани-Лейбу хитрое письмо, в котором выдумал, что у него был припадок, и что "целую ночь около меня дежурила сестра милосердия. Был врач и вспрыснул морфий". Сослался на Эдгара По, который в "припадках разбивал целые дома". Просил прощения у самого Мани-Лейба и у его жены Рашель. Есенин пред отъездом помирился с еврейским поэтом, но газетный скандал имел свои плачевные последствия. Выступления Дункан по Америке стали невозможны. Это она и сама поняла. Зингер, который обещал ей материальную поддержку для устройства студии, просто смылся и уже не давал о себе знать. Дни пребывания Есенина и Изадоры в Америке были сочтены. "Друзья" отвернулись, за исключением очень немногих, газеты тоже.

"Почти каждый день, – пишет Левин, – я продолжал встречаться с Есениным и с Изадорой. Настроение у них было грустное. Через несколько дней они уже должны были сесть на пароход. После скандала с Мани-Лейбом Есенин проводил все свое время в гостиничном ресторане.

Провожających было всего несколько человек. Изадора жаловалась, что никто даже цветов не прислал. Мы попрощались дружески, но было грустно".

4 февраля 1923 года Есенин и Айседора, в сопровождении Жанны, своей верной горничной, отплыли в Европу на пароходе «Джордж Вашингтон во Францию. На его борту Есенин обдумывал свою жизнь, которая пошла не так как он хотел. Никакой славы он не заработал. Для всех он на Западе он был только скандалистом, "альфонсом" стареющей танцовщицы. Зачем нужно было изображать великую любовь, мелькать перед фотокамерами, принижаться перед всякими проходимцами. Все ради славы! Но, где она, эта слава?

Только в России она ждала его, да и то, теперь в ней все по-другому.

Именно тогда зародились в его голове стихи, в которых он выплеснул всю свою боль и все переживания настоящего, загнанного в глубины подсознания искреннего и

мятущегося "нежного Я". Это стихотворение Есенин сначала посвятил Кусикову, и первая строчка в авторизованной рукописи читалась как "Пой, Сандро, напевай мне снова". Окончательный вариант передает пронзительную грусть и честную исповедь поэта перед всеми, кто верил в его величие и его больную, мятущуюся душу:

Пой же, пой. На проклятой гитаре
Пальцы пляшут твои в полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре,
Мой последний, единственный друг.

Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.

Я не знал, что любовь – зараза,
Я не знал, что любовь – чума.
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума...

Ах постой. Я ее не ругаю.
Ах, постой. Я ее не кляню.
Дай тебе про себя я сыграю
Под басовую эту струну.

Пой же, пой! В роковом размахе
Этих рук роковая беда.
Только знаешь, пошли их ...
Не умру я, мой друг, никогда.

5. Уставшая и мятущаяся душа

Айседора и Сергей прибыла в Париж в 8.30 вечера. На перроне их встречала Мэри Дести, приехавшая из Лондона. Есенин, одетый в дорожную шубу и высокую шапку, пьяный появился из вагона, поддерживаемый четырьмя проводниками. Айседора сияла от счастья. «Если сомневаешься, где остановиться, – гласил один из любимых афоризмов Айседоры, – всегда иди в лучший отель». Поэтому в Париже она и Есенин отправились напрямик в отель «Крийон». Дом на улице де Ля Помп был сдан на шесть месяцев одной американке.

Айседора заказала восхитительный обед с легким вином. Сергей стал требовать шампанского, но Айседора твердо отказалась его заказывать. Потом "Сергей читал свои стихи, – пишет Дести, – и действительно был похож на молодого бога с Олимпа — оживший, танцующий фавн Донателло. Он ни секунды не сидел на месте, часто убегал куда-то, в экстазе бросался на колени перед Айседорой и, как усталый ребенок, клал свою кудрявую голову на ее колени". Дункан ощущала себя счастливой. Но бодрое настроение Сергея постепенно стало переходить в беспокойство. Он каждые несколько минут убегал, то за сигаретами, то за спичками, и с каждым возвращением Есенин бледнел все сильнее, а Айседора нервничала все больше. Наконец он не вернулся вовсе. Служанка сказала, что Сергей ушел куда-то из отеля. Айседора стала совсем грустной.



Айседора Дункан и Сергей Есенин. Париж.
1922 год.

Вернувшись в Париж, Айседора снова вернулась во власть своего мазохистского чувства приниженности. Ее потребность в полной капитуляции снова заставляет ее идеализировать своего мужа. Из-за того, что она может найти внутреннее единство только с тем, кому она отдала свою гордость, Айседора

требует от Сергея, чтобы он был гордым, а она приниженной. В ней появляется изначальное очарование, производимое на нее высокомерием Сергея.

На резкие замечания Мэри Дести, Айседора отвечает, что бьет он ее не со зла, что только "когда он пьет, то совсем теряет рассудок и считает меня своим самым большим врагом". Она была не против его пьянства, потому что сама пила, забывая о

своих теребящих душу воспоминаниях. Ее потребность идеализировать Сергея и потребность сдаться действуют как бы вместе. Айседора приглушила свое личное «Я» до такой степени, что видит его, других и себя глазами своего любовника – все это делает их разрыв таким трудным, почти невозможным. Айседора сама считала, что, в ее терпении есть что-то, что ей самой нравится, "где-то глубоко, глубоко в душе". "Я не перенесу, – говорила Айседора своей подруге, – если с его золотой головы упадет хоть один волосок".

Через некоторое время Есенин шумно ворвался в отель «Крийон», переломал в комнате всю мебель, высадил туалетный столик и кушетку в окно, избил портье отеля, который пытался его утихомирить. После этого шестеро полицейских забрали Сергея в участок. Айседора была близка к обмороку. В газетах начались нападки на Есенина, посыпались обвинения в пьяных скандалах, требования выслать поэта из Франции.

Однако в Париже Есенин не только буянил. Он много работал над сборником "Исповедь хулигана", который вышел в переводе Франса Элленса и его жены переводчицы М. Милославской. Но все более и более его одолевает какая-то "смертная тоска". На вечере у проф. Ключникова Сергей читает "Пугачева". Писатель Е. Лундберг вспоминает о трагичном ощущении, которое сложилось у него при встрече с поэтом: "Он пьет и мечется. Есенин лицом к стене, хрипло читает: лицо нарочито искажено. Спокойное самодовольство А. Дункан. Французские парламентарии. Подчеркнутое уважение к Дункан, Есенин же для них — нечто вроде юного дикаря, вывезенного прихотливой принцессой.

У меня — вспышка ненависти к Дункан, к иностранцам, к корректным хозяевам.

Я тяну Есенина за рукав. Мы выходим в другую комнату и садимся в углу. Он полупьян. Мне тошно и страшно. Машина западной культуры и русское талантливое беспутство. Разговор рвется,

— Мне скверно, – говорит Есенин. Я и сам вижу, что скверно.

Дункан мешает нам разговаривать, Я слышу невероятный на фоне парижских смокингов и украшенного цветами стола диалог. Он произносится вполголоса; парламентарии его не слышат.

— Ты – сука, – говорит Есенин.

— А ты – собака, – отвечает Дункан.

Она ревнует – ко всякому и ко всякой. Она не отпускает его от себя ни на шаг. Есенин прогоняет ее – взглядом...

Минуту спустя Дункан ласково отвлекает его от меня. Он уже беззлобен. Тих и кроток – да, печально кроток»

Дункан и ее компания сидят у поэта в печенках, а выход только один, буяннить, пить, колотить все вокруг. Есенин вынужден был уехать в Германию. Айседора, окончательно разболевшаяся, решила послать свою камеристку Жанну сопровождать Есенина до Берлина. После у неё поднялась температура. Айседора совсем не могла спать... Ведь ее милый Есенин покинул Францию. А Сергей наконец-то был рад освободиться от надоевшей ему опеки Айседоры. Денег у него немного есть, можно пожить одному вволю. Уже новые стихи гнездятся в голове, и возник замысел "Черного человека".

В Берлине Есенин выступил в Шуберт-зале, и, будучи пьяным, обложил матом жену Горького Марию Федоровну Андрееву. Затем вымолил прощение у публики изумительным чтением своих произведений. 1 марта 1923 года в Доме немецких летчиков состоялся концерт-бал для российских студентов в Германии. В концерте, кроме Есенина, участвовали Алексей Толстой, Сандро Кусиков и Мария Андреева. Вечер закончился очередной пьянкой. Есенин что-то бормотал, выходя из зала с Романом Гулем. Вспоминал опять Троцкого, говоря, что ее поедет в Москву, пока Россией правит Лейба Бронштейн... Затем начал жалиться, говорить что-то непонятное, разные несуразности:

— Никого я не люблю... только детей своих люблю. Дочь у меня хорошая... – блондинка, топнет ножкой и кричит: я – Есенина!.. Вот какая у меня дочь.. сына я не люблю...он жид, черный... Дочь люблю... она хорошая... и Россию люблю... всю люблю... она моя, как дети... и революцию люблю очень люблю революцию....

И, тем не менее, несмотря на такой образ жизни, Есенин пытается организовать собственное издательство, совместно с Кусиковым, успел подготовить к изданию книгу «Стихи скандалиста», написав во Вступлении **"Я чувствую себя хозяином в русской поэзии"**.

С июня 1922-го по август 1923 года в Европе и Америке он написал немного, 9 или 10 стихотворений. Но в каждом из них звучала Россия, Москва, деревня, земля обетованная. Для тех, кто слушал его, Москва и Россия тоже были такой землей. Но эти воспоминания были пронизаны трагичностью и постоянными думами о смерти.

Сердце бьется все чаще и чаще,

И уж я говорю невпопад:
"Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад".

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне бог.

Снова и снова звучат в его стихах мотивы ранней смерти. А когда весной 1923 года до него дошла весть, что его родовое гнездо в Константинове сгорело, он с грустью вспоминает свой «низенький дом», стараясь отойти от своего "гордого Я", сделать вид, что слава его не интересует, и что только любовь к "родному пепелищу" волнует его душу. Есенин хочет отдаться своему "нежному Я", обрести покой в душе и в жизни, любить искренно, найти успокоение и мудрость в жизни. И ту славу, которую он искал всю свою жизнь, поэт теперь проклинаяет, обращаясь к воспоминаниям детства. Есенин всегда так делал в минуты душевного кризиса.

Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.

Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

Противоречия между "нежным" и "гордым" Я все сильнее захлестывают Сергея. Даже внешне это проявилось в том, что стихи о низеньком родительском доме написаны им в роскошном особняке Айседоры, в одном из самых аристократических районов Парижа – Пасси...

Все чаще в поэзия для Сергея становится прибежищем его истинных чувств и

переживаний. В его "нежном Я" сосредоточены все лучшие качества Есенина, его гениальный дар "божьей дудки", его нежность, ранимость, веселость, любовь к людям, родным, природе, зверью. Но "гордое Я" узурпирует всю энергию поэта и ведет к образованию всей системы гордости и желания славы, которая становится настолько сильной, что захватывает власть в его психике и начинает проявлять свои деструктивное и тираническое управление. "Нежное Я" все больше предается забвению.

Есенин как бы продал свою настоящую душу, свое "нежное Я" дьяволу. И уже давно начался процесс "отчуждения от себя", от своих собственных чувств, желаний убеждений сил. Наоборот, его поступки, его желания, его эмоции как бы запрограммированы его невротической гордостью и невротическими претензиями.

Связь с Дункан, поездка в Европу и Америку ради приобретения мировой известности – результат воздействия жестких установок "гордого Я", которое заставляет поэта становиться ведомым, любить то, что не хочется любить, делать то, что противно, терпеть ущемление самолюбия, гордости, человеческого достоинства. Потеря себя, по словам Кьеркегора, это "болезнь к смерти". Человек находится в отчаянии, в "отчаянном стремлении быть самим собой", потому что его Я "не способно собственными силами прийти к равновесию и покою".

Душа поэта постоянно находилась в состоянии какого-то бессмысленного отчаяния. Невротические потребности, связанные с гордостью и поиском славы руководят всеми поступками Есенина. Он не может не быть рядом с Айседорой, потому что она дает ему надежду на призрак славы, она обеспечивает его, утешает, любит, а с другой стороны, Сергей пытается вырваться из этих оков, вернуться к своим искренним чувствам. Но не находит их.

"Гордое Я" уводит Есенина от принятия собственных решений и всю ответственность за свое существование во время поездки Сергей перекладывает на Айседору. Она должна заботиться о нем, давать деньги на выпивку, на его бесконечные костюмы, ограждать от журналистов и полицейских, постоянно выручать его из неприятностей. Все творческие, конструктивные силы поэта лежат под спудом. Самостоятельность в выборе жизненного пути постепенно отмирает. Невротическая гордость отодвигает его шаг за шагом от самого себя. Он начинает стыдиться того, чем реально является. Постоянное состояние Есенина – двойное отчаяние, отчаяние от нежелания быть самим собой, и отчаянное "стремление стать самим собой". Его пьянство, вызывающее поведение, пренебрежение другими людьми, резкие переходы от

гнева к осуждению себя, от нежности к грубости – все это результат подсознательной ненависти к своему Я.

Есенин не хочет видеть свое "нежное Я", которое уводит его с пути славы в мир простых, нормальных чувств и желаний, но и свое "гордое Я" поэт не может терпеть и уважать. Он подчиняется Мефистофелю, потому, что продал ему свою душу, но это не означает, что он сам стал Мефистофелем. Поэтому подсознательно Есенин стремится не иметь ясного восприятия о себе, жить как бы в тумане, быть глухим, слепыми немым к позывам своей души. Ведь это теперь не его душа, она продана дьяволу. Вино - это самый быстрый способ уйти от внутренних конфликтов, от осознания своей ответственности. Поэзия и вино - две стихии, которые поддерживают в Есенине раздираемую на части. В пьянстве Сергей стремится уйти от ненавистных ему диктатов "гордого Я"; в стихах он пытается вернуться к своему "нежному", отвергнутому Я и как бы покаяться и объяснить сам себе - почему он такой, какой есть, иногда искренне, иногда с элементами фантазии и самооправдания.

Между тем в Париже Айседора скучала по своему "ангелу". А из Берлина сыпались телеграммы от Есенина. Наконец пришла такая: «Изадора браунинг дарлинг Сергей любишь моя дарлинг скурри скурри». Айседора быстро расшифровала одной ей понятные слова: «Изадора! Браунинг убьет твоего дарлинг (дорогого) Сергея. Если любишь меня, моя дарлинг, приезжай скорей, скорей». Через несколько дней она заложила у одного старого мошенника очень ценные картины французского художника Каррьера, которыми дорожила больше всего на свете, получила 60 тысяч франков, машину с шофером и решительно отправилась в Берлин.

Ехала Айседора с приключениями. Наконец после утомительной гонки по Европе и нескольких аварий, почти не спав несколько ночей, меняя машины, Айседора в напряженном состоянии наконец-то оказалась в Берлине. "Когда мы подъехали к отелю «Адлон» в Берлине, – писала Мэри Дести, – Сергей одним прыжком влетел в машину через голову шофера (верх машины был опущен) и очутился в объятиях Айседоры. Они стояли обнявшись... Это не было позой: оба эти экзальтированные существа действительно забыли об окружающих".

Несколько русских из числа эмигрантов увязались за супругами. Радостная Айседора заказала комнаты на всех этих прихлебателей и шикарный ужин. С таким трудом и под огромные проценты занятые деньги пошли снова на шикарную попойку с русской кухней. Есенин решил созвать всех, кого знал в Берлине поесть и выпить на

дармовщину. "Сергей встал перед ней на колени, -вспоминает Мэри Дести, - по его лицу текли слезы, он осыпал ее тысячами прекрасных нежных ласковых русских слов".

После обильного возлияния начался очередной скандал. Ревнивой Айседоре показалось, что Есенин с каким-то поэтом обсуждает новую свою любовь. Она обругала не понявшего ничего человека.. Это вызвало у Сергея жесточайший припадок ярости. Сергей начал бросать все, что попадалось ему под руку, неважно что и в кого. Трое или четверо из его приятелей пытались его удержать. С таким же успехом они могли пытаться остановить волны в океане, ибо в момент приступов Сергей становился невероятно сильным.

Айседора всегда наслаждалась этими буйными выходками Есенина. Она была готова простить ему многие прегрешения, ведь ее любовь к Есенину была патологической. "Я до сих пор верю, – писала Мэри Дести, – что, если бы Сергей не набрасывался на нее, она ничего не имела бы против этих выходов, потому что они отвечали чудовищным внутренним мукам, которые она непрерывно испытывала. Его приступы оказывали на нее такое же умиротворяющее воздействие, как сумасшедшая гонка на машине или полет в самолете, казалось, что полное пренебрежение ко всем условностям, которые на протяжении всей жизни так грубо ее ломали, дает ей передышку от вечной печали". Приступы Сергея были своего рода освобождением для Айседоры от ее мук и некоторым мазохистским наслаждением. Она понимала желание мужа крушить все вокруг, потому, что была согласна с ним. Его пьянство не отталкивало ее, потому что танцовщица сама пила и много. В ругани и взаимных оскорблениях они находили какое-то забвение от тревожащих их внутренней боли.

Как то после одного такого скандала Айседоре надоело просто смотреть на безумства Сергея и она решила сама получить удовольствие. Сначала она запустила тарелкой в картину на стене, затем в камине раздался звон графина. Издерганная Айседора разбушевалась. Начался страшный погром. Она впала в истерику, не понимая, что делает, и не в силах контролировать свои поступки. Вызвали врача и Айседоре сделали укол. Есенин продолжал скандалить, но утром жалобно всхлипывал и объяснял Мэри Дести, что "Айседора исчезла, исчезла навсегда, видимо, покончила с собой". "После припадков, – писала подруга Дункан, – он был похож на бедного ребенка, и от его вида сердце болело от жалости".

Но у самого Есенина не было жалости ни к кому, когда он напивался. Этой ночью он высказался невероятно грубо о ее детях, и Айседора, как безумная. выбежала

из отеля. Айседора еле передвигала ноги и, казалось, пребывала в полубессознательном состоянии. Мэри Дести умоляла ее бросить Сергея, но Дункан отвечала, что это будет равносильно тому, что бросить больного ребенка, и она никогда этого не сделает.. Утром супруги помирились.

"На семейном совете Айседора решила, - пишет Мэри Дести, - что мы все должны поехать в Россию. Но сначала крайне необходимо съездить в Париж и сдать или продать ее дом на рю де ля Помп, распорядиться с мебелью и т. п. Затем забрать ее вещи и книги с собой в Москву, куда она решила уехать насовсем и где, несмотря на все трудности, она будет вести свою школу, а Сергей писать великолепные стихи".

6. Прощальные пьянки в Париже

На следующее утро весьма разношерстная компания уселась в большой открытый автомобиль и поехала к французской границе. Еле хватило места для огромного багажа. Есенин был одет в одну из огромных шуб Айседоры, подбитую мехом, с меховым воротником. Да еще высокие сапоги, болтающийся на боку фотоаппарат и полевой бинокль, который он всегда носил с собой – Сергей напоминал полярника. За ними увязался какой-то музыкант с балалайкой, который просто утонул в чемоданах. Видны были только его жидкие длинные нечесанные волосы, закрывавшие почти все его лицо. В одном из своих припадков ярости Есенин разбил его любимую балалайку, и музыкант без большого сожаления вернулся в Германию.

Айседора и Мэри Дести были укутаны несколькими пледами, одеялами и пальто. В таком экзотическом виде компания проехала Лейпциг, посетила дома Гете и Листа в Веймаре. Есенин встретился с какими-то русскими и вел себя прекрасно. "Вся обстановка благотворно подействовала на него, – вспоминала Мэри Дести, – и я уверена, что русские вели очень интересные беседы, а Айседора тихонько сидела, улыбаясь, как ангел, довольная, что ее любимый балованный Сереженька счастлив". И дальше удивлялась их отношениям. "Такая, как ее, любовь к этому двадцатисемилетнему ребенку просто необъяснима". Ведь Айседора продолжала любить Есенина, несмотря на то, что он постоянно угрожал ей, был неверен, оскорблял память о ее детях, скандалил, даже бил ее. Ничего не объяснимого здесь не было. Жестокие выходки Есенина только все более возбуждали сексуальное влечение Айседоры, которая после каждого очередного буйства уединялась со своим "чертом",

который мгновенно превращался в "ангела", удовлетворяя ее потребность в мазохистской любви.

В своих публичных заявлениях она постоянно оправдывала Есенина, говоря журналистам, что ее муж болен, что его скандалы говорят о его эмоциональной неустойчивости, которая обычно сопровождает гениальных людей. Поведение Есенина было и результатом, и доказательством его гениальности. Получив визы, компания направилась в Париж. Однако ни в один приличный отель их не пускали, наслышавшись о пьяных выходках Есенина. Супруги со своими спутниками переезжали из одного конца города в другой. Денег не было, а в кредит никто не хотел поселять у себя шумную парочку. Тогда Айседора продала все свои замечательные картины Каррьера одному торговцу. Но, получив деньги, Айседора снова начала свою богемную жизнь и снова все начало повторяться, как будто записанное на пленку. Сергей во время очередного скандала переломал все, что ему попало под руку, изорвал все туалеты своей жены, висевшие в гардеробе. Айседора заперлась с подругой в ее номере, а взбешенный Есенин со всей силы пнув дверь, в ярости ушел.

Но денег не было, и началась ежедневная распродажа мебели, книг, картин, зеркал — словом, все, что было в доме. Есенин не находил себе места. Рушились его подсознательно вынашиваемые планы о мировой славе. Даже денег не хватало на ту жизнь, к которой он привык за год супружеской жизни. Подчас Айседора отказывала ему на выпивку. Дикие сцены Сергея повторялись каждые три-четыре дня, пока не наступил час, когда Айседора не могла оставаться с ним одна. Часто она сама, ее брат Реймонд Дункан, и Мери спали на кушетках в большой студии, а Сергей всю ночь бродил по дому и скандалил. Как-то ночью он выпрыгнул в окно, вылетев головой вперед и разбив стекло, но при этом даже не поцарапался.

27 мая после выступления в "Трокадеро" на приеме, устроенном в честь друзей Айседоры Есенин устроил очередной скандал. Он ругал всех присутствующих, потом ввязался в драку, швырнул канделябр в зеркало, которое посыпалось на пол. Снова прибыли четверо полицейских и вынесли Есенина, тихо бормочущего: «Хорош полиция. Идти с вами!». На следующее утро Айседора, по совету своих друзей поместила Есенина в дорогую частную психиатрическую больницу, а сама защищала поэта от нападков белоэмигрантов. "В настоящее время Есенин, несомненно, самый знаменитый, если не величайший, поэт в России, — писала Дункан в газетной статье. Таков поэт, которого господину Мережковскому хотелось заклеить, назвав его

«пьяным мужиком».

Эдгар Аллан По, гордость американской поэзии, был запойным алкоголиком. То же самое можно сказать о Поле Верлене, Бодлере, Мусоргском, Достоевском и Гоголе, скончавшемся в сумасшедшем доме? И все же они создали бессмертные гениальные творения. Я прекрасно понимаю, что г-н Мережковский никогда не смог бы существовать вблизи подобных людей,— талант всегда возмущается гением".

Айседора слегла с высокой температурой. Нервное напряжение во время турне по Америке, возмущение назойливостью и беспардонностью журналистов, раздувающих и раскрашивающих каждый шаг Есенина, каждый инцидент, связанный с его именем и именем Айседоры, — все это сказалось в Париже. Полиция намеревалась выпустить Есенина только при условии, что он немедленно покинет страну. Есенину тоже было не сладко. Позже, по возвращении в Россию, он делился своими впечатлениями о пребывании в "психушке" с Галей Бениславской. "Не мог без дрожи вспоминать, — пишет Бениславская, — как она (т.е. Дункан — *А.Л.*) поместила его в «сумасшедший дом», где к нему никого не пускали, а она приходила на ночь. Этого «сумасшедшего дома» он не мог ей забыть. «Я там в самом деле чуть с ума не сошел. Вы, Галя, не знаете, это ведь ужас, когда кругом сумасшедшие. Один больной все время кричал, а другой все время повторял одни и те же фразы. Я думал, что я сам сойду с ума».

Вскоре Айседоре удалось сдать в аренду дом какому-то русскому, а Есенину приказали в двадцать четыре часа покинуть Францию. Он упаковал свои вещи и выехал в Берлин дожидаться там Айседору. Она обещала последовать за ним через три дня. По дороге домой Айседора сказала: «Слава боту, это кончилось». Впервые за много дней она спокойно спала ночь. На следующий день Сергей вернулся с бельгийской границы. Бросившись перед Айседорой на колени, он сказал, что не может жить без своей обожаемой жены и только с ней поедет в Россию или куда она захочет. И никогда с ней не расстанется.

Окончив все свои дела, наутро они должны были выезжать в Москву, а вечером пошли поужинать в ресторан «Шехерезада»...Когда Есенин и Дункан заканчивали ужин и мирно сидели под большим торшером, к поэту наклонился официант: «Вы вот, Есенин, здесь кушать изволите, а мы, гвардейские офицеры, с салфеткой под мышкой...». — «Вы, — спрашивает Есенин, — лакеями?». — «Да Лакеями!». — «Тогда извольте, подать мне шампань и не разговаривать!»

Начался скандал, и Есенину снова угрожали неприятности. Благодаря вмешательству мэра Парижа, все обошлось и супруги на следующий день выехали в Берлин. "Когда поезд тронулся, – вспоминает Мэри Дести, – лица Айседоры и Есенина были бледными, а сами они походили на две заблудившиеся души".

"Поездка в Европу и Америку, – отмечал Ст. Куняев, – почти что сломала Есенина. Он как никогда мало писал – это для него, "Божьей дудки", человека, весь смысл жизни которого заключался в творчестве, было невыносимо. Как ни тяжело приходилось ему в России, «стране негодяев», но всякий раз, когда он осмысливал новое состояние родины и свое место в ней, наступал катарсис, приходило очищение, освобождение от тяжести, сознание исполненного долга, счастье совершенного творческого подвига".

Только в России он был кому-то нужен как поэт, и это вполне понятно. Его чтение стихов не могло увлечь ничего не понимающую русского языка публику Запада. К сожалению Сергей не понимал этого. Его невротические претензии заглушали правильное осознание реальности. Когда он радостно возбужденный читал стихи на каком-то перроне американского вокзала, его приняли чуть ли не за сумасшедшего проповедника какой-то новой веры, послушали две-три минуты и разошлись по своим делам. Есенин обиделся, ожесточился, и с ненавистью взглянул на ничего не понимающую Айседору. Вполне понятны его слова в письме Мариенгофу, что никому здесь душа его не нужна, что распахивать ее здесь, на чужбине, все равно что ходить с незастегнутой ширинкой. Но невротическая гордость не позволяла ему понять, что душевные порывы поэта не могут быть сами по себе поняты людьми. Поэт должен говорить на их родном языке, передавать знакомые и созвучные им мысли и переживания.

Поэтому Есенин и нужен был только России, и только в своей стране его ждали и слава, и любовь публики, и радость общения с друзьями и близкими ему людьми.